

Архив Международного Мемориала

Коллекция мемуаров и литературных произведений

Ф.2, оп. 10, д. 62

Кузина Марина Федоровна

[Воспоминания]: Интервью

Москва, 21.03.2002

Расшифровка диктофонной записи, компьютерный набор, 20 л.

Запись И.С. Петровской

Поступление 2002

Запись в «Мемориале» 21 марта 2002 г.

Отец арестован был в Харькове.

Я хорошо помню, где мы жили, на Бассейной улице. Я один раз была с тех пор в Харькове, в 1989 или 90-м году там была конференция, Сейчас в этом здании сельхозинститут находится. Мама же преподавала в университете имени Артема историю. У нее образование высшее. Они оба, мама и папа, закончили институт красной профессуры. Мама родилась 13 декабря 1899 года, работала швеей до революции. А папа был сапожником, работал на кожевенной фабрике. Познакомились они, по-видимому, на рабфаке, когда учились в Днепропетровске. Мама из Одессы родом, а папа из Смоленска.

Дед по материнской линии был грузчик в Одесском порту, а мама ее - просто домохозяйка, большая семья была - 6 человек детей. Бабушка умерла очень молодой от рака, а дед, он, в общем, пил, и мама о нем мало вспоминала, потому что он пил, грузчик, в порту. Бабушка была умница, старалась детям своим дать образование, это мне так мама рассказывала. А об отце своем она мало говорила.

В общем, родители закончили рабфак, отец 92-го года рождения, потом они оба заканчивали в Ленинграде педагогический институт. Потом оба учились в Институте Красной Профессуры в Москве. Я родилась, когда они жили в Москве, в общежитии ИКП. А сестра родилась в Днепропетровске, у нас 5 лет разницы, А теперь вот получается, что у уже ее на 10 лет старше.

ИКП находился в здании, где сейчас военно-политическая академия имени Ленина. И общежитие тоже было на Большой Пироговке.

Такие удивительные вещи с этим зданием случились, просто нарочно не придумаешь. Я немножко отвлеклась, а потом вернусь к 30-м годам.

Удивительное совпадение. Уже когда я кончила институт, работала я в Новосибирской области, в Тогучинском районе. Там я начала работать фтизиатром, с 63-го года.

Ко мне на прием пришла молодая девушка, у нее родственники жили в этом Тогучине, а она заболела туберкулезом. Я первый год тогда работала, и она ко мне попала. Как-то мы с ней сдружились, я ее направляла в санаторий, лечила. Потом она уехала, мы с ней переписывались года два, наверное. Потом она мне написала, что она выходит замуж за пограничника и уезжает на Дальний Восток. И как-то так переписка у нас оборвалась.

Потом еду я на десятилетие окончания института, в Новосибирск, и мне надо билет купить. Говорят, что на Курском вокзале открылась касса аэрофлота, там только отстроилось здание, народу там пока мало, в общем, я поехала за билетом на Курский. Я приехала, еще так прошлась, действительно, по два - по три человека в каждой кассе, я посмотрела, выбрала посимпатичней кассиршу, встала в очередь и фамилию свою называю: «Кузина Марина Федоровна». Она так смотрит на меня, побледнела вся, спрашивает: «Марина Федоровна?» Я не поняла, почему ее это так удивляет. Она спрашивает: «Вы - врач? Работали в Тогучине, Новосибирской области?» Да, говорю, работала. «А я - Вера».

И вот так вот мы с ней опять встретились. Она, как потом выяснилось, никогда ни до ни после не работала в этой кассе на Курском вокзале. Тут единственный день, ее просто попросили там кого-то подменить. Она сказала, что

муж ее поступил учиться в военно-политическую академию имени Ленина. Вера звала приезжать, познакомиться с ее мужем Я стала у них бывать, потом они приезжали к нам в Серпухов. А сын у них такой тяжелый – там и психическое что-то было, учился в спецшколе, и заячья губа и волчья пасть, очень тяжелый мальчик. Они к нам приезжали, познакомились с мамой. Витя такой приятный, муж Веры, очень приятный человек. А Вера 10 классов кончила, дальше она не училась. Пока мама была жива, мы даже как-то не задумывались, где они живут на Большой Пироговке. А потом мама попадает в 60-ю больницу, это в Новогиреево, больница старых большевиков. И Витя ее там навещал. Мама там и умирает. Было это в 1974 году 22 июня.

Тетя моя умерла спустя 8 лет, и тоже 22 июня, родные сестры, такое совпадение.

Витя, когда мама умерла, был на сборах, Вера участвовала. Мы маму кремировали, она похоронена в Николо-Архангельском, а захоранивали мы урну в августе. Сестра моя, Леночка, прилетела из Новосибирска, и тут уже был Витя. Там же надо, чтобы был мужчина, договариваться с могильщиками, ну и там разное. Потом он и предложил нам: «Вы устали, поехали сейчас к нам, помянем маму вашу, и поедете домой». Приехали мы к ним в общежитие, сестра моя так посмотрела: «Господи, боже мой! В это комнате ты родилась. В этой комнате. Здесь вот стояла твоя кровать». Ей же тогда было 6 лет, и она запомнила. Ну и мама рассказывала, что по коридору дети ездили на велосипедах, кухня общая, общежитие. Окна выходили на Новодевичий монастырь, и слышно было, когда колокола звонили.

Там сейчас выстроили дом высокий, и сейчас не видно. И бывала я у них много раз, ну да, на Большой Пироговке, но даже мысли не возникло. Вот такое совпадение у нас с Верой началось, и вот так закончилось.

Потом уж мы узнали, что да, действительно, ИПК находился в здании академии, а общежитие, как было, так и осталось.

Ну вот, а родители закончили институт, и весь их выпуск направили организовывать политотделы при МТС на Дальний Восток. И папа попал в Хабаровский край. Был он начальником политотдела при МТС, а потом секретарем Харольского райкома партии. А мама была начальником политотдела

А я перед этим перенесла сначала одну операцию – трепаназию черепа, у меня было воспаление среднего уха в 8 месяцев, а потом рецидив был в 1 год и 6 месяцев. Но у родителей не возникло даже мысли, что ребенок больной маленький, нуждается в специальной помощи, потому что дело важнее, и для мамы Ленин – это было все. Потом после реорганизации МТС мама работала редактором многотиражки, и была председателем женсовета. Вели они очень активный образ жизни.

Потом их направили в Харьков, это уже 36-й год был. Папа работал зав. Сельхозотделом и учебных сельхоз. учреждений обкома партии, а мама в ком. университете имени Артема, преподавала историю.

Этот университет, по-моему, сейчас в этом здании сельскохозяйственный институт. Потому что и мама и сестричка мне говорили, что и тогда где-то недалеко был этот институт. А когда я была в Харькове, меня повели харьковские мемориальцы, и дом мы нашли наш на Бассейной улице, старожилы вывели.

Сейчас в нашем доме проектный институт, саму комнату найти нельзя, там все перекроили, переделали, перестроили, но, что мне запомнилось с детства – широкая мраморная лестница, и так и оказалось. Дежурная нам ключи дала,

провела нас, но никого не было, кто бы мог открыть именно нашу комнату. Помню, что комната большая квадратная, высокие потолки, балкончик был. Но коммуналка, несмотря на то, что работник обкома был папа, жили в коммуналке.

У мамы была готова к защите кандидатская диссертация, что-то по белогвардейскому одесскому подполью. Она уже и апробирована была, и оппоненты были назначены, но тут папу арестовали. Папу арестовали в 37-ом, в сентябре. Когда его арестовали, меня не стали будить, но я все очень чувствовала, в детский сад пришла и очень замкнулась, и все время носила куклу, которую папа подарил. А мама нам говорила, что папа уехал в командировку, а сама поехала в Киев, доказывать, что папа невиновен. Нас оставила с тетей, своей сестрой, с тетей Катей.

Тогда повальные шли аресты, и тетя Катя опасалась и уехала быстро в Одессу. Мама вернулась из Киева, ей все говорили «уезжай, разыскивать сейчас не будут». Все уже чувствовали, чем может кончиться. А мама уверена была, что папа ни в чем не виноват, и говорила: «Меня с какой стати арестовывать». Она уверена была, что дело разрешится. Папу арестовали в сентябре, а ее в феврале, и когда ее арестовали, уже не было папы в живых, его же 20 января расстреляли.

Нас поместили в детприемник-распределитель. Тетка уже уехала, никого не было. Мне – 5 лет, сестре – 10. Причем нам сказали, в ту же ночь, когда за нами пришли, что нас везут к маме. Мол, соберите самые такие нужные вещи, а что 10-летний ребенок может взять?

Нас привезли в этот харьковский детприемник-распределитель. Ужаснейший! Там дети были разного возраста, и были, вероятно, не только дети репрессированных, но и уголовные элементы. Какие-то там расхаживали, лет 18-ти. Спали мы с сестричкой на одной кровати, Помню очень хорошо, что там было очень много крыс. И их там травили, и они уже мертвые лежали кучами по лестнице. Какой-то это был сарай, помещение, короче, было неудобное. Мы там пробыли, по-моему, месяца четыре или пять. Потом нас посадили на поезд и повезли. Сначала высадили меня в Полтавской области, в Диканьском районе, хутор Михайловское. Вот туда я попала.

Нас с сестрой насильственно разлучили. А сестра попала в Житомирскую область. Разлучили нас очень надолго. Было бы ничего, если бы не война. Детдом этот я очень хорошо помню. Находился он во фруктовом саду, но не разрешалось даже яблоко сорвать. Много народу было, и дети были разного возраста. Такие, как Лена мои тоже были, не только дошколята, так что нас вполне можно было оставить вместе.

Меня в 6 лет отправили в школу. Мы там учились писать на обоях, в то время не было голода, но кормили нас очень плохо. Три раза в день нам давали перловую похлебку. Обижать не обижали, не били, не наказывали.

Но потом, уже в Серпухове, я случайно встретила человека. Случайно услышала у человека, (мы попутчиками ехали в такси) украинский акцент, и спросила его, откуда он. Он сказал, что с Полтавской области, я стала спрашивать, откуда с Полтавской области. Он говорит, что из Диканьского района, село Михайловка. Но тут я, конечно, его начала расспрашивать как, что. Оказалось, что он главный врач интерната для слаборазвитых детей. Я думаю, что нас отправили туда, как слаборазвитых детей. Потому что этот главный врач говорил, что интернат с таким профилем был очень давно, как будто с самого своего основания. Он меня приглашал приезжать, но я не смогла.

41

Нас кормили три раза в день перловой похлебкой. Ни жиринки, ни молочка, ничего. Потом, видимо, я уже очень была ослаблена, стала, видно, уже к тому свету приближаться, потому что стали мне давать по чашечке маленькой молока в день.

Мама сообщили, где я. Мама потом рассказывала, что когда она узнала, что нас разлучили, она валялась по земле и выла волчицей. Она понимала, что это такое. Это своего рода изуверство было. Кому мешало, что мы будем вместе? Сейчас везде говорят, что детей нельзя разлучать, если они сироты. А тогда нас нарочно, сознательно разлучили, что бы дети отвыкали друг от друга. Сестра у меня такая боевая была, она вообще больше на мальчишку была похожа характером, очень решительная была всю жизнь. Наверное, и выжила она в оккупации, потому что такого характера была, и сбежать она смогла, и от душегубки ей удалось спастись. И она за меня горой всегда стояла. Сама могла меня обидеть, но другим – нельзя.

Вот в этом детдоме у меня уже появились поносы голодные, они меня направили в санаторий, потому что я умирала. Там ничего не нашли лучшего, как посадить меня на хлеб и на воду, чтобы остановить понос. Не питание хорошее, а наоборот. Ну, в общем, выжила как-то.

Тетя, тетя Катя в 40-м году добилась, что меня ей отдали в Одессу. А у нее было своих трое девочек. Привез меня сопровождающий, а тетя жила в коммуналке, трое своих детей, две комнаты. С младшей девочкой Галей мы – одногодки.

А я приехала в рубище, ужасно была одета. В каком-то длинном из дерюги платье, какие-то нитяные женские чулки, которые я обматывала вокруг ступни, и подвязывала бинтами. Ботинки огромные с загнутыми носками, какое-то пальтишко- не пальтишко, не поймешь. Стригли нас, разумеется, наголо, волосы стали отрастать и стояли козырьком. Страшно худая. Тетя меня помыла и передела в вещи Гали. Для меня это было потрясением, что такие бывают хорошие, красивые вещи. Конечно, они были далеко не новые, но для меня удивительно было, что они по росту, по размеру.

Сестру Лену удалось тете перевезти в Одессу в детский дом. Она, тетя Катя, работала в системе детских домов, она знала, куда и как обращаться. Ей даже зимой 41-го года удалось перевезти Леночку в детский дом для одаренных детей. Ну и она к нам приходила, и мы виделись. Но это, к сожалению, всего до войны осталось – ничего. В школу мы пошли с сестрой Галей, там недалеко школа была.

У тети Кати было два мужа. У двух старших девочек, Люси и Майи, их фамилия Доберштейн – один папа, от него тетя ушла к Галиному папе. Он, вообще был профессор как-то. конституции, точно не знаю. А фамилия у тети тоже было Берковская. А Галин папа ее бросил, и она оказалась одна с тремя девочками. Люся, Леночкина ровесница, она конца 26-го года, декабря, а Майя еще на 5 лет старше. Девочки меня и Леночку хорошо они встретили, и когда она в гости приходила, хорошо все было, но тут, к сожалению, война. Мы с Галей первый класс кончили, хорошо мы учились, Галя журналистом стала. Она потом работала в «Алма-атинской Правде», а потом они эмигрировали в Америку. Сейчас осталась жива только Люся, свет мой в окошке, которая нас вывозила. Она сейчас живет в Екатеринбурге. Ей тоже уже 75. Леночка была замужем, а детей у нее тоже не было. Никого у нас нет, один племянник на всех- сестер. У Галя двое детей, но они сейчас в Америке. У нас были очень теплые отношения, но Галя умерла там, теперь даже и в гости я бы не поехала. Но с Люсей бы всегда были более близкие.

В Одессе в первые же дни войны разгромили вокзал. Леночкин детский дом должны были эвакуировать теплоходом. Все там уже было на мази, как говорится,

и вот мы вышли. Детский дом, где тетя работала, был переоборудован в ремесленное училище, и мы вышли вместе с училищем. Тетя купила телегу, и мы вместе с ремесленным училищем шли пешком до Николаева. А телега, чтобы хоть что-то взять из вещей. Ну и мы на ней с Галей, как маленькие, нам по 10 было. Николаев уже бомбили, но город еще был наш, пока мы дошли, там больше ста километров, по дороге все время бомбили. Там ведь степь кругом, все видно далеко. Мы лопухи на голову надевали и думали, что нас так не видно. Ремесленники ведь тогда ходили в черной форме, их издали заметно. Вообще, кошмар! А потом уж добирались до Сибири теплушками, там, чем придется. Все были вместе, кроме Леночки.

А теплоход, на котором их должны были вывозить из Одессы, подорвался на mine. На следующий день, после того, как мы вышли, их должны были вывезти, а теплоход не подошел, подорвался. Не на чем было вывозить. И они еще месяц жили в Одессе, и уходили уже с нашими отступающими войсками. Одессу не сдали, но войска начали отступать, и с ними выходил и Леночкин детский дом. Их погрузили на теплоход, и этот теплоход тоже подорвался. Они четыре часа держались на воде, в спасательных поясах. Хорошо еще, что лето было, июль, теплая вода была, и спасали их моряки наши. И попала она тогда в станицу Бесскорбная. Это – Северный Кавказ. Их детский дом должен был эвакуироваться, уже они вышли, но немцы спустили десант воздушный, и их всех вернули в детский дом. Потом пришли полицаи, немцы, и стали всех детей, похожих на евреев, забирать и – в душегубки. А Лена не была похожа, она темноволосая, кудрявая, с голубыми глазами, и нос – картошкой. Маму мою тоже не считали, хотя нос у мамы был типичный еврейский. Никто про нее не думал, но, конечно, по фамилии, по имени-отчеству понятно было. Фамилия у нас, конечно, не оставляет сомнений. Меня в детском доме, кстати, тоже записали, как Берковскую, хотя в метрике и во всех документах я Кузина. Тетя ведь была Берковская, а она меня оформляла, и все знали, что мы родственники, поэтому я тоже была в детском доме Берковская. Папа с мамой и не зарегистрированы были, но это не помешало маму арестовывать. А родители сестру записали на мамину фамилию, меня – на папину. В метриках у нас у обеих было написано, что отец – такой-то, мать – такая-то.

Полицай почему-то Лену мою, как она потом рассказывала, когда пришли забирать евреев, засунул за дверь. Они на фамилии не смотрели, только внешне. Как-то он ее за дверь засунул, и сказал, что «стой тут». Не знаю, почему, но пока выводили других детей, она там за дверью стояла.

К сожалению, она мало рассказывала, а мы как-то не спрашивали. В письмах и то больше прочитали, потом уже. Сколько ей довелось перенести и пережить...

И они, Леночка и еще три девочки, убежали и спрятались в сарае. И пока наши не пришли, они прятались в этом сарае. Месяца четыре, недолго. Питались они тем, что ночью выходили, и подкапывали брюкву, и ее ели. Потом, вероятно, что-то тут еще произошло, но Леночка никогда ничего не рассказывала. Но что-то произошло трагическое. Леночка никогда об этом не говорила, ни мне, ни кому еще. Но я так чувствую, что-то было тогда. Короче говоря, когда наши пришли, Леночка уже умирала. То ли желтухой она заразилась, то ли еще что-то у них там случилась, но девочки прибежали к нашим в госпиталь и сказали: «Дяденьки, у нас там девочка умирает». Пришел санитар, ее на руках унес в госпиталь, и там ее выходили. Тогда Леночка опять попала в детдом, она уже большенькая была, уже 12 лет. А в детдоме держат только до 14, а потом отправляют в ФЗУ. А она очень способная.

Даже есть письмо, где воспитательница пишет маме, в лагерь, что «Дочка очень способная, и вы должны ей дать высшее образование».

В общем, она не учась в 8 классе, сразу в 9 пошла. Но потом ее все равно должны были вывести из детдома, по возрасту. Хотя она очень плакала. Леночка очень талантливая, по всему, за что бы она ни взялась, все получалось. Но, к сожалению, не дали ей высшее образование получить. Закончила она техникум молочной промышленности, работала сначала бракером, потом попала на большой завод молочный в Новосибирске. Там она все время занимала инженерные должности. Даже когда приезжали на работу инженеры с дипломами, на ее место никогда никого не ставили. Все работы знала досконально, могла работать главным механиком, и главным технологом работала на заводе огромном, даже на молкомбинате. У нее в подчинении была очень много народа. Потом сделали ее начальником ОТК, в подчинении у нее было 3 лаборатории, со всем она прекрасно справлялась. Всегда она была на ведущих должностях, хотя образование у нее было среднее. Когда надо было сопровождать делегации, комиссии, только Леночку просили сопровождать. Во всем ей доверяли. Уже 12 лет прошло со дня ее смерти, а ее очень помнят в Новосибирске. Не удалось ей получить образование, к сожалению.

Ну вот, не понятно, что там у нее была за болезнь, выходили ее в госпитале, но печень у нее потом всегда болела, наверное, все-таки желтуха, и что-то с кишечником. И масса заболеваний, и сердце, и в жизни ей досталось, в 65 лет всего умерла.

Потом она вернулась в детдом, а из детдома взяли ее смоленские родственники, так называемые. Это родственники по отцовской линии. Связь же держали, переписывались. И мама писала, и была еще папина сестра, старшая, она о Лене очень заботилась, но, к сожалению, не все она могла.

Взяла Леночку другая папина сестра, Ира. У нее муж был главный военный прокурор в Пятигорске. Это дядя Роман и тетя Фруза (Она Ефросиния была, но ее называли Фруза). Но Леночку там держали как домработницу. Война к тому времени кончилась, уже был 46-й год, но мама еще не освободилась. Потом они не нашли ничего лучше, как отправить Леночку на курсы хлебнспекторов. Там бородатые дядьки учились, и Леночка с ними сидела. Потом Лена уехала в Гурьев к двоюродной сестре, а ее муж был директором Гурьевского молочного завода. Конечно, ей очень не повезло, что она попала к таким родственникам. Потом они оправдывались, и перед ней и перед мамой, что мы не могли взять девочек обеих.

Ну а про нас было так. Мы – это тетя, ее все дочери: – Майя, Люся, Галя и я. Ну, после мытарств всевозможных и перипетий мы прибыли, наконец, в Новосибирск. А про Леночку, что у нее, где она, мы ничего не знали. Только, когда я была в детдоме уже в Новосибирске, только тогда у нас наладилась связь, через маму, другую тетю.

Мы с Кавказа, с Константиновки ехали теплушками вместе с ремесленным училищем, и попали в Кемерово. С этим же ремесленным училищем тетю определили директором училища. Там у нас был дом в саду, дом директора, на берегу Томи. Мы там с Галей пошли в школу, а старшая сестра Майя устроилась на завод химический, чтобы получать рабочую карточку. Люся в школе училась.

Но тут вернулся с фронта директор ремесленного училища, раненный, его первый директор. И пришлось освободить и квартиру, и должность. Но так как тетя была на хорошем счету в педагогических кругах, то ей предложили на выбор несколько мест, куда ехать. Не очень она была практичный человек, и она решила,

что в далекой Север-Томской области, (Тегульдетский район, село Белый Яр), что мы там легче проживем. Там был детский дом, в 200 километрах от железной дороги. Вещей-то у нас не было, что мы там могли вывезти.

А там оказались сосланные кулаки. Собственно говоря, купить там на деньги ничего было нельзя, только на вещи выменять.

И вот тетя была завучем детского дома. Все-таки мы как-то устроились, купили потом корову, поросеночка, жили, квартира у тети была. Ничего бы было, но тут случилось несчастье. Когда в детском доме директор отсутствовал, то механически его замещал завуч. В один из злополучных дней сельские ребята заставили детдомовского мальчика переплавлять плот по реке. А он не умел плавать. Я не помню, как называется река, а может, и пруд был, но довольно большой. Но главное, что мальчик с этого плота свалился и утонул. А директора не было, за директора тетя моя, и вот тетю арестовали. Значит, мы трое остались. Майя училась в Новосибирске в институте инженеров железнодорожного транспорта. Сразу же над тетей суд был, под ружьем ее, под конвоем взяли. Очень скорый суд был, и тете дали 5 лет по уголовной статье. Попала она тоже в глухомань, в Томской же области. Причем если мама была в АЛЖИРе, то тетя попала к уголовникам. Она там сломалась, конечно. Хотя она работала там в бухгалтерии, она же грамотный человек. Но все равно жила же в том же бараке, с уголовницами. Она не рассказывала ничего, но пришла она оттуда морально сломленной. Мама физически была очень сломлена, но морально мама была посильней, а тетя так...

Нас сразу же выгнали нас из квартиры, одна нянечка нас приютила у себя. Тайна, глухая-глухая тайга.

Что делать? За мной пришли, меня забирать в детский дом. А про тетиних детей ничего не говорили. Пришли когда, сразу сказали Люси, что «она – не ваша». А для детдомовских детей мы все были одинаковые дети завуча, и значит, «барские щенки». И, конечно, если бы меня туда забрали, в первую ночь меня, конечно, дети бы забили. Потому что, они бы не потерпели, что бы к ним попало такое инородное тело.

Люся, старшая сестра, сказала, что меня не отдаст. А тот, нет, говорит, пойдет. И меня за руку взял. А Люся его за руку укусила. Тот ушел, но все равно сказал, что меня заберут. Тогда меня насильно не забрали. В общем, короче говоря, меня стали прятать. Если какой стук в дверь, меня в подпол, или под кровать. И тут Люся поняла (это 42-й год, мне 10 лет, а ей 15), что надо оттуда выбираться, иначе плохо будет. Да и на что жить? Никаких средств к существованию у нас не было. Коровушка вот, правда, была и поросенок.

Тут приехал из райкома комсомола человек набирать ребят для ремесленного училища. Люся его знала хорошо. Пошла к нему. Попросила, чтобы он вывез нас отсюда как-нибудь. Тот говорит, что хорошо, вывезу, но только до районного центра, до Тегульдета, а дальше уж надо будет выбираться как-то самим. Ну, она решила, хотя бы так.

Продаем мы свою коровушку, вымениваем на продукты, нужные в дорогу. Запаслась она мукой, поросеночка зарезали. Все это мы успели за считанные дни, может 2 недели на все про все. Уже к зиме дело шло. Снег уже выпал. Выбились мы на санях. Тайна, глухая тайга, морозы трескучие. Ужасно... Короче, Люся наша все организовала. Добрались мы до Тегульдета, и туда же, кстати, привели нашу корову. Покупатели привели, Корова мычит, мы плачем. Бегали мы к ней...

Люся пошла в горком комсомола, сказала, что так и так. Рассказала, что мама наша преподаватель, помогите нам. Ей дали грамоту такую, ну как охранную,

чтобы от села к селу, от колхоза к колхозу нас перевозили на перекладных. Нам надо было любыми путями добраться до железнодорожной станции. А конечная цель была Новосибирск. Нам надо было как-то погрузиться на поезд. А вот эту бумагу, ну как охранную, ей дали только на двоих, ей и сестре Гале. А я - как-то не у дел. Меня как и нет. Ну, все равно. Поехали мы, разумеется, втроем.

Мы с маленьким сундучком, и добирались мы месяц, а пройти надо было 200 километров.

Вот приходим мы в какой-нибудь колхоз, и Люся идет к председателю, говорит, что у нас. А там есть возможность, или нет, неизвестно. Лошади уже все тощенькие, мы ждем, пока кто-то поедет в нашу сторону. Живем у кого-нибудь в избе, где-нибудь угол нам выделяют, иногда по неделе сидим. Первое время у нас еда была, потом люди помогали. Люся делала затируху, мука была, сало нашего бедного поросенка.

У Люси все ноги были в язвах, гнойных ранах, она же шла пешком. Мы же с Галей в санях едем, с сундучком, а она пешком идет, все это время пешком. Там же не перевязаться было негде, ничего. Это кошмар! У нее до сих пор такие рубцы остались. Она говорит, что сейчас бы она не смогла того сделать, что делала тогда, что вывезла нас. Это совсем уже зима. Нас и заворачивали, и укутывали.

В общем, дошли мы, наконец, до Асино. Это первая железнодорожная станция. Это был наш последний, как говорится, перегон. И в этот раз нас везли одних. И возница говорит, будем смотреть, где толстый дым. Это такой способ определить, где печка хорошо топиться. Высмотрели мы такой толстый дым, такой добротный кирпичный дом. Возница пошел в дом, сказал, что там дети, примите, пожалуйста. Очень издалека едут, замерзли. Конечно, мы обовшивели все. На нас было уже страшно смотреть. Потому что ни помыться, ни постираться, ни переодеться, ничего. Там оказалась, на наше счастье, в этом доме фельшерица. Она как раз дома оказалась. Когда мы стали выходить из саней, я идти не могла. У меня обморозились ноги, я на ноги встать не смогла. Меня возница на руках вынес. Фельшерица нам выделила кладовочку. Там мы расположились, она нас и кормила. И отмыла, отстирала нас по мере возможности. И сан.обработку надо было пройти. Тогда даже не выпустят, и билета не дадут, если сан.обработку не прошел. Мы дважды проходили сан.обработку. Вся одежда прожаривалась, а волосы нам фельшерица намазывала керосином, чтобы вывести всю нечисть.

В общем, у нас всего два места. Как ехать? Вот мы на одной полке, хотя иногда места были в разных вагонах, ведь с пересадками. В конце концов, мы доехали до Новосибирска, к Люсиному папе. Они поддерживали отношения, и детей он всегда любил, писал всегда. Он, как мне кажется, все это время до конца жизни своей тетю любил. И к моей маме очень хорошо относился. Они все дружили с 14-лет. Тетя только на год младше мамы. Он очень хороший человек, Люсин-Майин папа. Но там – жена, черте что. А нас – трое.

А Галин папа (он профессор Педагогического института) уже эвакуировался из Ленинграда в Караганду.

Мы связь тогда держали письмами. И мама рассылала всем, и тетя писала. И Люся дала телеграмму, что мы едем. Дядя Саша Глинберг, Галин папа, прислал телеграмму Люсе, что «Галочку привези ко мне в Караганду, а Мариночку сдай в детдом».

Майя тогда училась уже в институте военных инженеров транспорта, тоже в Новосибирске. Люся – школьница. Сначала жили они у Майи в общежитии, а потом снимали угол.

А Галю Люся повезла поездом в Караганду. С билетом папа помог, и тот, Галин папа, тоже помог. Но самое главное, что когда она написала маме: «что очень хотела к тебе заехать, а Саша меня отговорил», ведь она совсем рядом была в Северном Казахстане, мимо проезжала АЛЖИРа. Это же Карлаг, Караганда, совсем близко. Мама, когда вернулась, все наши письма привезла.

Галю Люся там оставила, а у папы ее уже другая семья, уже свой ребенок родился, у жены отца свой ребенок от первого брака, и Галя, третья. Относилась к ней та жена неплохо, Гале, как раз, повезло.

А я попала в Новосибирске в детский дом. 15-й детский дом. Февраль 43-го года.

Конечно, для меня это было потрясение. Я, наверное, две недели рыдала не просыхая. Уже от меня все отступились, не могли меня уговорить, я никак не могла успокоиться, оттого, что опять попала в детский дом. Сдали меня, как багаж.

А второй дядя, Люсин-Майин отец, он не препятствовал, но там всем распорядилась жена. Девочки жили впроголодь, снимали угол, а отец их получал паек, он же в Новосибирске на кинофабрике работал, был там заместителем директора. Так что неплохой у него был паек. А жена прятала все в сундук, гноила продукты, а девочкам ничего не давала. А папа такой подкаблучник, весь в работе. Нина Борисовна была для него все. Люся приходила к ним, открывала сундук гвоздем, там лежали и мед, и крупы всевозможные, все это гнило. Я, если приду из детдома, я, правда, редко приходила, Люся мне стакан меда наложит, и говорит, ешь. А хлеба нет, я уже не могу его есть. А Люся говорит: «Ешь, не могу же я его обратно положить!»

Навещали меня в детдоме редко. Я тоже иногда приходила к этому дяде Боре, там же отпускали по домам, ребята отпрашивались. Ну, Нина Борисовна, она меня не очень ждала.

Но у нас был хороший детский дом.

Про Лену мы тогда ничего не знали. Уже потом, когда я была в детдоме, Люся списывалась, и папа ее узнавал, круг пошел. Лена сама смогла выйти на маму, и мама на Лену, уже переписка завязалась. И я маме писала, про детский дом, и про себя.

В детском доме был хороший, просто прекрасный директор. Правда, в войну мы там тоже очень бедствовали, питались покрученной через мясорубку мороженой картошкой. Каша такая получалась. Чтобы у нас не было цинги, нам давали дрожжевое молоко, отвары из хвои. А потом, почти перед победой, директор выхлопотал для детского дома туберкулезный паек.

Я так думаю, что там были еще дети репрессированных, но ведь мы боялись говорить о себе. Тогда считалось, что у кого родители погибли в бомбежку, у кого на фронте, но я так думаю, что были и такие, как я. Во всяком случае, были дети Романенко, братья Витя и Эдик, из Харькова. Разница у них была лет в пять. Эдик очень красивый был, белокурый, кудрявый. А Витя нашел лаз где-то в погреб (государственный), воровали там картошку и пекли. У нас стояли огромные обогреватели, они топились дровами и углем, и в золе пекли ворованную картошку. В самом начале помещение было неважное. А директор жил при детском доме. Соловьев Савватий Андреевич, он был одинокий, сначала даже ставил нам в укор, что он одинокий, своей семьи не создал, потому что о нас заботится. Потом, правда, семью создал, мальчик у него вырос хороший. Мы с ним очень дружили, он даже не моей свадьбе был. Мой муж был тоже из этого детского дома.

Была еще Лида Якушева, больная тяжелой астмой, были у нее страшные приступы. У нее точно папа был арестован, она мне открылась. Мы с ней моей маме писали коллективное письмо, и Лида Якушева писала своим красивым почерком и спрашивала у мамы, нет ли у них в лагере ее папы. Это письмо сохранилось, поздравительная открытка с 1-м Мая. Мы же не знали, что лагерь только женский. Потом, правда, были там и мужчины заключенные. Очень сожалею, что не поддерживали мы отношения с детдомовскими.

Был Володя Цыганкин, у него папа погиб на фронте, а мама умерла, и забрала его женщина, которая очень любила отца, она его усыновила. Дала ему образования. Володя - врач тоже, закончил институт.

Сестры были Оля и Лиля Цевилицына, разница у них была года три-четыре. Галя Ван, кореянка, вероятно. Галя Брезгина. Вот они были меня постарше немножко, но у нас были очень добрые отношения. Очень хорошая у нас была преподаватель по труду, учила вышивкам, сами мы шили простыни, наволочки на руках, машинок не было. Я научилась очень хорошо делать кукол для кукольного театра, бибабо. Мы сами ставили спектакли, сами лепили, сами шили. Это все заслуга нашего Савватия Андреевича. Если бы не он, ничего бы не было. У него, с нашей точки зрения, были и отрицательные стороны. Он нас мог выстроить на линейку, если кто-то провинился, и мог часами распекать, устраивать, как мы говорили, «бомбежку». А у него привычка была, к каждому слову прибавлять «понимаешь, понимаешь». Вот мы стояли и считали, сколько раз скажет «понимаешь». А вообще он был, как отец родной, мог и шлепнуть, не то, чтоб там избивать, но шлепнуть очень даже мог. Но в то же время, был у меня такой момент.

Однажды мыли мы коридор, и там подружка моя говорит: «Все, ты больше не мой, я за тебя все сделаю, а у тебя сегодня – день рождения». Директор в это время проходил мимо, и услышал.

У меня день рождения 17 июня, и как раз кончался учебный год, и там для старших, которые сдали экзамены, устраивали чаепитие. Я ничего этого не знала, и вечером мы уже спать приготовились, и вдруг за мной приходят. Говорят: таких-то, таких-то и Берковскую – вниз, в рабочую комнату. Думаю, зачем, но захожу. И – отпрянула назад.

Столы накрытые стоят, там торты, пироги. Позвали только старшеклассников, которые закончили учебный год, и меня, младшую. А директор так говорит: «Вот что хорошее, так вы сразу назад. Заходи, заходи. Вот, Лена мы тебя поздравляем, потому что у Лены сегодня день рождения». Все захлопали. Это мне исполнилось 12 лет. А директор мне преподносит блокнот, карандаши, и такая ленточка-бантик, и брошечка – якорец позолоченный с глазочком. Не знаю, где он взял, у жены, наверное. Долго-долго берегла я его, но потом, к сожалению, потерялось. Потом мы все чай пили.

Потом, после моего дня рождения, директор стал всем отмечать.. Но не по дням, а за месяц, кто в этот месяц родился, потом был общий праздник, но мой был первым. Пирог обязательно пекла наша повариха, поздравляли именинников, подарки дарили недорогие. Это точно только заслуга нашего Савватия Андреевича. Потом у нас шефы были, подарки нам дарили к Новому году, письма присылали поздравительные, каждому в отдельном конверте. Вот мне однажды прислали. Там напечатано было на машинке: «Дорогая Леночка поздравляем тебя с Новым годом. Желаем, чтобы ты, Валюша, была послушной девочкой», так вот немножко праздник мне подгадили.

Потом американцы стали присылать вещи, помощь такая. Конечно, старые вещи. Но нам подбирали, мы перешивали по размеру, что-то было все-таки. Даже, когда я вышла из детдома, мне дали с собой юбочку, кофточку. Мама перешивала, довольно долго я в этом ходила.

Директор ослабленных детей, а я была очень слабенькая, отправил в больницу. Кстати, среди учебного года, положил нас несколько человек в больницу. Якобы, у нас глисты, и надо их выводить. Но положил с целью, чтобы мы подкормились. А нам еще и передачи приносили из детдома: масло, сахар, булки, плюшки, чтобы мы окрепли.

Потом мы переехали в новое помещение, бывшая школа, там было прохладно, и мы все грели руки на батарее. И там все заразились (через батарею) друг от друга чесоткой. У меня руки были до локтя в гнойных волдырях. И директор нас всех лечил с фельдшером, а то ей бы одной было не справиться. Человек нас было, я думаю, двести. Это считается большой детский дом. Дошкольников не было, были там только школьники до 7-го класса.

То, что до 7-го класса, тоже – несчастье. Были ведь дети способные, которые хотели учиться дальше, а директор не мог держать их до десятилетки. Тогда надо отправлять в ФЗУ, очень это печально было. Я-то уложилась, успела..

Тете моей сперва скостили срок до 3 лет, и она освободилась раньше мамы. Тетя приехала ко мне в детский дом, хотела меня забрать. Но я сказала, что буду ждать маму. Это было уже начало 46-гшо, и я знала, что мама должна вот-вот вернуться. Маму оставили в лагере на вольном поселении, она должна была обучить уголовниц, кажется, пошивочному делу. Сначала она гладила, а потом стали они шить обмундирование. Она ведь портниха еще по дореволюционному образованию, еще в Одессе она закончила ремесленное пошивочное училище. Она великолепно шила, нас всех в семье обшивала, кукол моих обшивала. Необыкновенная она была портниха. Мы только этим и жили потом, только тем, что она умела шить. И страдания от этого, и горе от этого, но и как-то надо было существовать.

Мама приехала где-то в ноябре 46-го. Справка была «по месту следования и нахождения в детском доме дочери», а потом уже 101-й километр. Новосибирск – областной город, там жить ей было нельзя. За нарушения паспортного режима – 5 лет. Но она нарушала, тайком, тишком, как-нибудь. В общем, она освободилась, и пришла с тетей Ривой, с которой она была вместе в лагере.

Барк-Соскина Рива Абрамовна, ее когда арестовали, сын Павлик остался с золовкой, и ушел в 17 лет на фронт, и погиб. Тете Риву арестовали беременной, там девочка родилась, прожила в бараке до 3 лет, а потом забирали в детский дом. Там она от диспепсии умерла. И маме пришлось сообщать о смерти и сына и маленькой девочки. Мама говорит, что тетя Рива не плакала, становилась как железная, такая окаменевшая.

Когда они приехали в Новосибирск, тетя Рива захотела с мамой пойти ко мне в детдом. Мама ее отговаривала: «Не ходи, тебе будет тяжело». Но тетя Рива считала, что ей надо пойти, потому что маму надо поддержать. Мы не виделись с мамой 8 лет, почти 9. В общем, мне говорят, к тебе пришли две женщины. Уже я поняла, что это – мама.

Две женщины. Одна такая маленькая, седенькая, А мама, я помню, была очень рослая, красивая. А тут какая-то сгорбленная, седенькая старушка. Мама рано поседела, у нее была желчно-каменная болезнь и приступы. Еще я до ареста помню ее седую. Конечно, я сразу поняла, кто мама. Я к ней бросилась, и что-то со мной

случилось, какой-то шок нервный. Потому что я стала говорить одно и то же: «Ой, мамочка, ой, мамочка». Вот так вот. Тетя Рива отошла к забору, облокотилась на руки и навзрыд рыдала. Не выдержала, мама ведь ей говорила, что не надо ходить. Она так рыдала, я помню эту ее позу.

Потом мама пошла к директору, переговорить, как, что. Директор вызвал меня и говорит: «Знаешь что, маме надо обустроиться. Мама приехала больная, побудь у нас еще годик. А мама немножечко придет в себя, и тогда она тебя заберет» А мама тут рядом стоит. Я говорю: «Нет, нет, нет, нет, нет. Как это, мама освободилась из лагеря, а я тут останусь?»

Директор обычно уходящих хорошо собирал. Вещи, чтобы и на зиму и на лето была одежда какая-то. А тут он приболел, и воспитательница меня просто выпихнула. Очень мне мало с собой вещей дали, но я была не седьмом небе, что я буду с мамой.

А у Ривы Абрамовны золовка с мужем (Рафаловичи по мужу) жили в Новосибирске, а Риве дали поселение сначала в Коми, потом она была в Ленинск-Кузнецке. Она потихонечку к ним приезжала в Новосибирск.

В детском доме я еще была Берковская. Потому что во всех документах меня знали как тетину племянницу. В педагогических кругах тетю хорошо знали, и меня так и считали по ее фамилии. Хотя по метрике я всегда Кузина. Но как-то так получилось, что меня один раз оформили, и так и оставалось. А как вышла из детдома, все тоже само собой восстановилось. Когда в фельдшерском училище я получала паспорт, уже была фамилия Кузина.

Тетя уже уехала в Новосибирскую область, в Каргат, это такой район. И мы с мамой тоже туда поехали. Галя оставалась у своего папы в Ленинграде, потом Галя переехала в Тогучин к матери. Это небольшой город, тогда жителей было 28 тысяч. Тетку безо всякого взяли работать завучем в школе, статья не помешала. Про Лену мы знали, что она в Гурьеве закончила техникум, ее направили тоже в Новосибирск на молочный маленький заводик, бракером. Люся кончила школу в Новосибирске, потом она в Томск в университет поступила.

Бесправное наше положение, ужаснейшее. Я поступила после Каргата в фельдшерско-акушерскую школу, после 7-го класса. Сначала на фельдшерское, потом перешла на лабораторное отделение. Снимали мы с мамой углы. Сначала жили вместе с тетей, в Каргате, тоже угол снимали, у хозяйки было трое мальчиков. Потом мы с мамой отселились, с тетей в то время тяжело было жить. Мама шила. Она из лагеря вернулась, в ней было 46 килограмм. Она как-то сгорбилась, худенькая, маленькая, усохла. Мама с самого начала стала писать, узнавать про папу. Хотя все говорили, что и не пытайтесь, не старайтесь, ничего у вас не выйдет, потому что бесполезно. Мама надеялась, что папа жив, где-нибудь в лагере, но жив. Очень долго надеялась, пока не пришло свидетельство о смерти, и то, мы долго от нее скрывали.

Мама очень мало рассказывала о лагере, об АЛЖИРе. Рассказывала, как там замерзали, выйдут во время метели, и замерзали, не возвращались в барак. Рассказала, какие были бараки. Но рассказывала, что начальник лагеря никогда не называл заключенных зэками, называл товарищами, никогда никого не оскорблял. Чувствовалось, что его заставили эту должность принять, но он как только мог старался облегчать участь людей. Там сильно не облегчишь, конечно, но он, хотя бы не унижал. Переписывалась она долго с Седых Марией Алексеевной.

А тетя Рива и мамы ведь вместе учились еще в ИКП, они случайно встретились в лагере. У них еще были общие друзья по институту Красной профессуры. Эмма

Лубоцкая, Гарин Михаил, он очень долго работал в «Известиях», почти с самого основания. Лев Римский, в Москве работал, где-то в Министерстве, точно не помню. Они приняли большое участие, помогали, когда мама и тетя Рива добивались реабилитации.

Тут такие времена наступили, немножко потепление началось. Уже этот, извините меня, сдох.

Только в 57-м году началась реабилитация, с 46-го по 56-й десять лет было бесправного положения, собственно говоря, это ссылка была та же самая. Работать по специальности мама не могла, даже в начальных классах нельзя было преподавать. Инвалидности ей никакой не давали, потому что – з/к. Ей было 46 лет, когда она освободилась, вернулась она очень больная, но никакой группы у нее не было. У нее было четыре грыжи, ведь надо было утюгами ворочать пудовыми, угольные 20-тикилограммовые утюги, тяжеленные.

Как только узнавали, что мама шьет, сразу все хозяйки свои сундуки открывали с отрезами, и говорили, чтобы мама за квартиру их обшивала. У нас машинка была всегда с собой. Мама говорила, что она будет шить столько, сколько надо платить за квартиру, потому что нам же нужны были деньги и жить, и одеваться, и кормиться на те же самые деньги, на ее шитье. Тогда хозяйки говорили, что мы им не подходим, и нам отказывали.

И случилось так, что меня по распределению после фельдшерской школы направили в санэпидемстанцию работать. На весь Тогучинский район была одна станция. Я работала по бруцеллезу. Месяцев 7 я проработала, вызывает меня главный врач (изуверка страшная!) и говорит: «Марина, пусть придет твоя мама, мне надо кое-что пошить». Маму предупредили, что имейте в виду, она будет стараться заставить шить бесплатно. Мама сказала, что она не пойдет. Но я ее уговорила пойти, все-таки мне неудобно, но, в случае чего, можно будет отказаться.

Мама вообще шила очень хорошо, но очень мало и медленно. Шила она учителям, врачам, и ее вещи носили подолгу, никогда они не лежали в сундуках. На каждого у нее была отдельная выкройка, потом такую выкройку можно было годами использовать. Мама сама придумывала фасоны. Но ее фининспекторы обложили. Это шитье ей так доставалось, она его ненавидела. Пальцы у нее были обмороженные, красные, распухшие суставы, сидела она и шила на столе (потому что было так холодно, такой пол холодный, что вода замерзала), слезы у нее текли. А она сидела и шила.

Так ее это шитье доставалось, что я ни за что не хотела учиться шить. Она мне все время говорила: «Учись, пока я жива». Но я – ни за что! Я даже не знала, как стежок сделать. Я видела, чего стоит этот труд, Я ее никогда не просила мне что-нибудь сделать, хотя у нас лежали материалы. Пока она сама для меня не возьмется, я никогда не просила. Сестра часто: «мама, сшей, мама сшей!» А я никогда не просила.

И вот мама пришла к моему главному врачу, та открывает шкаф полный отрезков, и говорит, что вот это все вы мне перешьете. А мама сказала, что только за деньги будет работать. Та так удивилась: «Как это за деньги? Дочь работает у меня лаборантом, а мать отказывается мне шить бесплатно?» Но мама все равно отказалась. Главврачиха пригрозила, что тогда дочь работать у нее не будет. И она отправила меня переводом в участковую сельскую больницу за 70 километров от Тогучина. Ведь я должна была отработать после училища 3 года, а прошло только семь месяцев.

Там даже и лаборатории не было никакой, я там обходы делала как медсестра. Вот так меня использовали. Подселили нас с мамой к фельдшерице. Дали нам даже огородик, помогли его вскопать, посадить картошку. Но мы ее убрать не успели, потому что внезапно приезжает лаборантка из районной больницы, и меня забирает. Совершенно другого профиля – клинического, а я в санэпидемстанции работаю. А у меня такая плохая учительница была по клинической лаборатории в училище, взъелась на меня, и внушила мне такую ненависть к лаборатории. И тут – на тебе! – меня переводят. Я ничего не умею, других лаборантов нет, посоветоваться не с кем. Я одна на все больницу, на весь стационар, на весь район. Работала я на одну ставку, хотя лаборатория была очень большая. А я еще учусь в вечерней школе, 8-й, 9-й, 10-й класс заканчиваю, мне уже 19 лет. Это был какой-то ужас. Я по учебникам, по три раза пересчитываю анализ, что-то среднее вывожу. Только благодаря этому, я стала очень хорошим лаборантом, клиническую лабораторию освоила поневоле. После меня там работали 9 лаборантов и врач-лаборант. А я одна волокла все работу, да еще в вечерней училась.

Сестре Леночке дали вместе с тремя девушками маленький домик в Новосибирске. Это был раньше частный дом, но государство откупило. Он был неблагоустроенный, печное отопление. Леночка уже работала на городском молочном заводе. Я после Тогучина приехала в Новосибирск учиться, и мама со мной потихонечку. Я в этот год поступала в институт и не поступила. Только на следующий год удалось, училась на дневном отделении, у нас вечернего и не было. Работала в областной больнице в Новосибирске, лаборантом.

Жили вместе с тремя девушками в этом домике. И мама заболела. А перед этим Лена пошла в милицию и рассказала всю нашу историю. Это был конец 55-го года, дело шло к реабилитации, к разрешению, но еще ее не было.

Мама к этому времени уже три инфаркта перенесла. Девять лет прошло, как она вышла, 9 лет бесправного положения, тайные приезды к нам, каждый раз тряслась от страха. Ехала на буферах, потому что билетов, разумеется, нет, а ей хотелось подкормить нас как-то. Что-то невероятное! Ей при жизни надо было памятник ставить.

И Лена пошла в милицию, к начальнику паспортного стола с просьбой маму прописать к ней, в Новосибирск. Лена потом рассказывала, что она все милиционеру рассказывала, плакала. А он, молодой такой, но с седой прядью, слушал ее, все время курил, и написал на ее заявлении: «Прописать в виде исключения». Маму только успели прописать, месяца четыре прошло, у нее начались сердечные приступы. Вот однажды, мы с Леной были на работе, и приносят маме сразу несколько телеграмм: «Дело твое разрешилось, поздравляем. Мы с тобой, держись. Рады за тебя». Все московские друзья, которые здесь хлопотали, все прислали такие телеграммы.

И мама не может ни с кем поделиться, рассказать некому, телефона, разумеется, нет. И мы приходим домой, а у мамы инфаркт, и телеграммы кругом. Мы положили ее в областную больницу, где я работала. Очень тяжелый был инфаркт, чуть-чуть она не погибла.

А дело уже завертелось, и передали в Новосибирский обком документы о реабилитации. Лежит мама в больнице. Палата большая – на 20 коек. Вдруг прибегают несколько врачей, заведующая отделением с трубками, ее слушают и куда-то убегают. Оказывается, звонили из ЦК, узнавали про маму. Потом вызвали ее в обком партии, сообщить о реабилитации. Мама спросила: «А про мужа?» Ее спросили, одна ли она пришла, потому что знали, что она только из больницы.

Она еще очень плохо себя чувствовала, и пошла с тетей Ривой. Мама сказала, что она пришла с подругой.

- Вот подруга пусть зайдет.

И тете Риве сообщили, что папа реабилитирован посмертно и восстановлен в партии.

Мы еще продолжали жить в маленьком домишке. Одна из девушек, тоже работающей на молокозаводе, ей дали квартиру. Другая - вышла замуж, уехала в Ялту. В конце концов, мы остались одни. Были там две крошечные комнатухи, колодец на улице, ну и все удобства, сами понимаете. Мама воспряла немножечко, и пошла она в райком партии, хлопотать о квартире. Был там изумительный совершенно секретарь, Филатов. Он дает распоряжение, предоставить маме квартиру, однокомнатную. Мама так рада была, что ей дадут однокомнатную отдельную квартиру после всех мытарств, а Филатов спрашивает: «Сколько вас? Какая у вас семья?» Мама говорит, что нас трое, у нее две взрослые дочери. И Филатов сказал, что троих на однокомнатную он не подпишет, только в двухкомнатную.

И мы попали во дворец. Кирпичный дом, на втором этаже, с ванной, с туалетом. Хотя там все было занесено снегом, потому что был новый дом, и всюду были щели, но мы были так счастливы, это не то слово.

Первая была наша квартира... Вот такое достижение после реабилитации.. Мама прикрепилась в партийную организацию на швейную фабрику, там она такую бурную деятельность развела, общественную работу вела, была редактором стенной газеты, читала лекции, занимала в районе первые места. Если мы все от общественной работы всегда бегали, то она от нее счастлива была невозможно. Уезжала на целый день с одним бутербродиком, и приходила счастливая, довольная.

Потом я закончила институт, меня приняли в партию в 57-м году. Мама говорит, что надо мне ехать работать туда, где меня знают, где я была секретарем комсомольской организации. Опять попала в Тогучин. Там мне дали квартиру, а мама с Леной оставались в Новосибирске.

Но это такая была дурь с моей стороны – ехать в Тогучин! Потому что раньше я работала средним мед.работником, а тут вдруг стала врачом. Старые врачи, которые работали раньше, они во мне врача не видят. Сестры не знают, как со мной быть, потому что раньше была подружка, а сейчас стала – врач. Они тоже от меня отошли. Хорошо были со мной только мои больные. К этому времени я развелась, я в институте сходила замуж ненадолго. Все –таки, три с половиной года я там отработала. А мама уже была персональный пенсионер, стала ездить в санатории. Приезжала в санаторий в Кратово, санаторий старых большевиков. И здесь, под Москвой она хорошо себя чувствовала, и мы решили, что надо перебраться куда-нибудь в среднюю полосу. Я даже поехала в Смоленск сначала, там жила двоюродная сестра. Я пришла в горздрав, а мне сразу сказали, что квартиру и не надейтесь. Смоленск был весь разгромлен, квартиру не получить лет тридцать, это точно.

Ну, я поехала в Москву, в облздрав. Пришла и говорю, так и так, я фтизиатр. Мне говорят, идите в областной диспансер и там узнавайте. Я пришла, там было совещание областных главврачей. В диспансере работала женщина, она участие приняла в моей судьбе. Я подождала перерыва, все главврачи вышли, и она спрашивает: «Товарищи, кому нужны фтизиатры?» Это был уже 63-й год, но туберкулеза было очень много. И там сразу: «Мне, мне, мне». – «Подождите, У

меня один человек всего» А потом мне говорит: «Я вас познакомлю с главным врачом Серпухова, очень хороший человек, Вы подойдете ему».

Пожилой, было ему тогда лет 75, заслуженный врач республики, и вообще потрясающий человек. Подвела меня, познакомила. А он говорит, что они уже помещали объявление в «Медицинском газете», но что-то никто не отозвался. А я, видимо, этот номер газеты пропустила. Звали его Исай Яковлевич Гончарж.

Он мне говорит: «Знаете, что мы сделаем. Вы приезжайте, посмотрите, какие наши условия. Если Вам понравится, мы будем заполнять листок по учету кадров, хлопотать для Вас жилье. Я в жилищной комиссии, у нас один доктор из города уехала, а ее очередь на квартиру подходит. Я Вас постараюсь в ее очередь сунуть».

Тут я думаю, господи, чего мне еще искать? Я поеду к нему и посмотрю. И на другой же день еду в Серпухов, прихожу, он меня сажает на машину, показывает мне город, знакомит меня с персоналом диспансера, персоналом туберкулезного отделения городской больницы. И говорит, что если понравилось, чтобы я срочно выслала ему свои документы, а он будет добиваться лимита на прописку.

Я думаю, что никуда в другие места не поеду. Хотя и были более ближние к Москве предложения, но мы не привыкли к такому обращению! К такому хорошему. Только сюда, больше никуда. Приехала, маме рассказала, она сказала, что, конечно, давай будет перебираться в Серпухов. Что-то с лимитом не сразу получалось. А врач старенький, который работал на этом участке, уже ушел. Ему было 80 с чем-то лет, и он болел, по болезни ушел. Мне Исай Яковлевич писал: «Марина Федоровна, не теряйте надежду. Место для Вас держу. Никого не приму на Ваше место. Я Вас жду». У меня его письма сохранились. Я ему про себя все рассказала. Мама уже была реабилитирована в то время, тогда уже можно было рассказывать.

Так мы с ним переписывались, вдруг он дает телеграмму: «Срочно приезжайте. Квартира».

Я приезжаю. А в профсоюзе нашем (надо же поиздеваться!) меня спрашивают, буду ли я с мамой жить. Да, говорю, с мамой. Тогда мне говорят, что не могут нам на двоих с мамой дать двухкомнатную квартиру, а однокомнатных у них сейчас нет. Я отвечаю, что мама имеет право на дополнительную жилплощадь, как персональный пенсионер и как больной человек. Я мне с такой издевкой говорят: «Нет, это где-то у вас в Сибири может быть, а у нас – нет». Исай Яковлевич мне советует поселиться пока в частном секторе. Потому что у них был в Серпухове такой медицинский дом, такая полная развалюха, там одни старухи по комнаткам жили, и кухня общая. Исай Яковлевич считал, что если мы только войдем и вселимся в этот дом, мы никогда больше ничего не сможем получить. Скажут, что крыша над головой есть, и все. А из частного сектора мы скорее получим. Лимит мой никуда не пропал, потому что прописывать меня в частном доме не стали. Потом потребовали, чтобы мама прислала из Новосибирска свой паспорт, что она там выписалась. Мама присылает паспорт с выпиской. Мне эта тетка из жилищной комиссии заявляет: «Это вы своими мамами спекулируете. Пусть мама сама приезжает». И вот мама приезжает, и мы с ней еще год живем в комнатусечке-шестиметровочке, отгороженной, которую мы снимаем. Потом все-таки дали однокомнатную квартиру, в которой я живу до сих пор.

Было очень тяжело мне после смерти мамы. Я стала подавать документы, чтобы поехать куда-нибудь за границу поработать. Подавала заявление везде, где только можно было. Честно писала в анкетах – занятия до 17-го года, занятия после 17-го года, все как есть, так и писала. Дура душой, что писала все честно. Писала,

что родители репрессированы, реабилитированы, папа посмертно. Пишу, где папа родился, а умер-то, я не знаю где. У меня было тогда только одно свидетельство о смерти, что он умер в 39-м, а то, что расстрелян в 38-м, я тогда свидетельства не получала. Первый этап проходит нормально, доходит до второго этапа, и проверяющий мне отказывает. Отказывали мне два года и Красный Крест, и Министерство, и военкомат, все.

Я подавала документы как фтизиатр, и даже Красный Крест, им в Ирак точно нужны были фтизиатры, а мне сказали: «Нет, уже взяли».

Я уже крест поставила на этом деле, ведь бесполезно, никто меня никуда не возьмет. Я невыездная, как была, так и осталась. Случайно однажды встретила знакомую, она училась в спец.ординатуре, окулист. Там учили язык два года и предмет свой. А потом с этим языком куда-то направляли. И там спросили, нет ли знакомых одиноких женщин, которые бы хотели поехать поработать в одну из развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америке. Вот она мне и говорит, что есть такое предложение. Я как-то даже не заинтересовалась, потому что знаю, что все равно ничего не получится.

И как раз в это время приехала сюда в Кратово в санаторий тетя Рива. Я к ней поехала встретиться, потом она меня провожала и говорит: «Нам в ЦК было разъяснение, что вы, дети, в своих биографиях можете не указывать о судимости родителей. И нам всем сменили партийные учетные карточки на чистые». Теперь, значит, надо было просто указывать занятия до и после 17-го года. Можно было ничего не писать ни о судимости, ни о реабилитации.

Вот как раз мне одновременно тетя Рива сказала и то предложение о поездке. И я думаю, попробую, получиться – получиться, а нет – так нет. И я написала о родителях в анкете, там эти занятия до и после революции – рабочие, а потом на партийно-преподавательской работе. Папа умер в 39-м году. Это был год, когда у же не было таких повальных репрессий, а мама, умерла в Москве в 74-м году. Министерство здравоохранения СССР сначала, потом облздрав, и пошло-поехало. В КГБ я сама ходила, отнесла все, что нужно. Все меня утверждают, даже еще хорошо, что не было нашей главврачихи, она никого не выпускала, а ее замещал один очень хороший человек, он мне все подмахнул. Нужно было еще на парткомиссию идти, а сроки уже поджимали, прямо два дня осталось, я уже опаздывала. КГБ там в облздраве кое-кого поспрашивало. Им сказали, да хорошая девка, берите, не пожалеете. Разумеется, ничего о моей судьбе не сказали. В сентябре меня вызывают в министерство и предлагают мне Мозамбик.

И так спрашивает меня: «Никто из родственников не был судим?» У меня сестра Леночка была только из родственников. Если б не было никого, не пустили, ведь заложников надо было оставлять. Я так честно в глаза ему смотрю и говорю: «Нет, никто не был судим». Он, конечно, был КГБэшник, врач, но КГБэшник, это точно. И он меня выпускает, Болотин его фамилия.

Я пока не пересекла границу, не верила, что это со мной, что меня выпустили. У меня получилось две поездки – 77ой - 79-ый и 82-ой - 84-ый годы.

Вообще, никого в одну страну не посылают дважды, это – первый случай. Но тут, на втором разе, я споткнулась. И споткнулась очень здорово.

Первый раз в Мозамбик мы ехали первыми. Страна не хотела принимать, советских вообще не хотят нигде. Хотя направляют на работу только опытных специалистов. Языка совсем не было (В Мозамбике говорят на португальском). Потом уже стали на три месяца на курсы языковые посылать при институте Мориса Тореза. Хоть на три месяца, хоть что-то, а мы вообще – никак. Нам сказали, что вы

три месяца будете на месте изучать язык и работать в центральном госпитале. Если вы за это время себя хорошо зарекомендуете, то вас оставят в столице. Если хорошо себя зарекомендовать не сумеете, вам отправят на периферию. Никто из наших в Мозамбике еще не был. Наша группа первая, контракт был на 44 врача. Поехали раньше 20 человек, и вот 24 оставалась, а нас никак не пускали. Семейные и несколько одиноких. Нас подобралось 4 одинокие женщины.

Первая группа уехала в ноябре, а мы только в мае, страна никак не принимает и все. Уехали 8 мая, там были 9-го на день Победы. Через неделю, только-только мы освоились, нас вызывает министерство и сообщает, кто остается в столице, а кто уезжает. Через неделю, никаких трех месяцев. Мне сообщают, что я еду в Тьмутаракань, за три тысячи километров от столицы. Окулист со мной, едет в промежуточный город, летит за полторы тысячи километров, а двое педиатров (с одной я очень подружилась) остаются в столице. Я одна, без языка, без переводчика. Там уже работали три наши пары супружеские, врачи. Одна пара из Белоруссии, вторая - из Таджикистана, и третья - из Дагестана. Никого больше советских нет.

Это провинциальный город, большой, в нем большой госпиталь. Госпиталь был шикарный. У меня флюорографическая установка была, лаборатория, все что нужно. Но состав врачей ужасный. И меня предупредили, что еду я в змеюшник. Положиться там будет не на кого.

Всю ночь я проплакала, а на утро у меня началась очень сильная аллергическая реакция, меня всю обсыпало. Отек легких, глаза склеились, на голове короста, температура за 40, в общем, я буквально умирала. Не знаю даже на что такая сильная реакция, может, на солнце. А скорее, нервное.

Кое-как, только через месяц (а должна была через неделю!) судьба моя – ехать туда. Оклемалась немножечко и поехала. Там меня даже не встретили, вдобавок ко всему.

Два года я проработала, нормально, и меня сестра зовет приехать к ней, в Новосибирск. Предлагает мне меняться, переезжать. «Давай не будем по одному, итак нам судьба досталась, что все время мы врозь».

Это было лето 1982-го года. А моя подруга по Мозамбику, педиатр, мы так с ней и продолжали дружить, говорит: «Давай пойдем в министерство к Болотину, поговорим». Он продолжал там работать. Очень строгий, немногословный, очень пунктуальный, организованный человек. Ничего никогда за ним переделывать не приходилось. Пришли мы к нему. А он меня «Марина» называл. Знал прекрасно и фамилию, и отчество, знал про меня всю подноготную, кроме, конечно, самого главного. Пришли и моя подруга говорит: «Георгий Александрович! Марину сестра зовет жить в Новосибирск». Он отвечает сразу: «Новосибирск подождет. Сейчас мы посмотрим, что мы имеем». Работать можно были на замену, и меня меняли, и работали, кого-то заменяя. И высмотрел: «Поедете в ноябре следующего года на замену в Мозамбик». Я говорю, что мне уже исполнится к тому времени 50 лет. А он сказал, что ничего, я ведь не оперирующий хирург, а терапевт. У нас ездили гинекологи старше и оперирующие, и ничего, справляются хорошо.

Первую мою поездку я говорила по-португальски плоховато, и не учила больше язык. А когда во второй раз приехала, я заговорила просто замечательно, будто и перерыва никакого не было. Видимо, язык где-то подспудно накапливался, заговорила, будто специально изучала. Светских бесед я, наверное, вести не могу, но так говорить, а уж на профессиональные темы – пожалуйста.

Вдруг меня Болотин вызывает неожиданно зимой, в январе, а ехать в ноябре, и спрашивает: «Марина, почему Вы не пишете заявления, нужно срочно оформлять документы». Тогда я скорей-скорей-скорей. Кое-как все оформила. Вдруг он меня опять взывает, где-то в феврале. Тут стали правила оформления другие. В первый раз все от начала до конца читал и подписывал он. А теперь в министерстве оформляли документы в отделе кадров, а еще появилась Загранпоставка, совсем в другом месте, на Троицком переулке, там оформляют аттестат, паспорта, и есть там такая справка-объективка. Заполняется она в 5 экземплярах. Там надо указывать, где родители родились и умерли. Я ведь не знаю, где папа умер. Я в прошлый раз тоже заполняла такую справку и написала: «Место смерти неизвестно». И мне все сошло с рук. Сейчас меня Болотин вызывает и смотрит: «Марина, Вы не написали, где умер папа». Я ему отвечаю, что я не знаю. Он мне говорит: «Марина, ведь сестра старше Вас, она должна помнить». Я говорю, что сестра тоже не знает. А тут же в кабинете сидят двое кадровиков. Я говорю, что я в прошлый раз тоже так писала. Он мне объясняет: «что годилось в тот раз, не годится в этот». Я растерялась, он меня прижал, и не знаю, что делать. Надо было, наверное, сказать, что «Я Вам потом объясню». А я растерялась и говорю правду: «Георгий Александрович, они расслышали, а он весь побледнел. Он ведь помнит, как я ему врала, в глаза глядя. были репрессированы». Кадровики, к счастью, на что-то отвлеклись и не

А про себя думаю: «Как же ты поступишь?» Если он меня не выпустит, как же прошлый раз объяснять. Он много раз объяснял, что если у человека один раз все прошло хорошо, он адаптировался, зарекомендовал себя, мы дела таких специалистов отправляем в резерв. А кто на чем-то прокололся, тогда его дело – в архив, те никогда больше не поедут. Мое дело было в резерве, все на мази. И тут такое дело!

И все-таки он меня пропустил. Документы пошли по инстанции, и только он меня пропустил, в марте у него случился инфаркт. А только он оправился, как тут же попал вы страшную автокатастрофу. Но к ноябрю он поправился и меня выпускал уже сам. Никогда, ни до, ни после, ни одного слова, ни взгляда, ни намек с его стороны не было!

Я до самого конца была уверена, и сейчас так думаю, что если меня выпустили, значит, моих родителей реабилитировали.

Вторая моя поездка была благополучная, только все удивлялись, что я второй раз в одну и ту же страну. Тяжело было только, что там к Советским плохо относятся. Вот, бывало, идешь к местному начальству что-то для госпиталя просить. А мне отвечают, ничего не дадим, потому что вы воюете в Афганистане. Я возражаю, что я ведь не для себя лично. Мне ничего не надо. Я для ваших же больных, тем более, что я же не воюю, а лечу ваших людей. Трудно было.

Так вопрос о моем переезде в Новосибирск отпал. Леночки не стало в 88-ом году, 24 февраля было 14 лет. Без нее мне очень одиноко. В 2000 году незадолго до своего дня рождения была у меня очень тяжелая операция. В таком диагнозом 85% смертей, очень тяжелая была операция. Я теперь хожу в бандаже.

Поддерживает меня семья Люси. У нее один сын, и один внук. Живут они в Екатеринбурге, я каждый год стараюсь к ним ездить. Очень теплые у нас отношения. Племянник мой любимый, у нас на всех один мальчик. Он ведь у нас воспитывался, Саша, уж скоро ему 50 лет. Езжу я к ним, как я говорю, за любовью Утром просыпаешься, тебя встречают с улыбкой. Я считаю, что я заряжаюсь у них теплотой на год, такая вот моя Люся, мой «свет в окошке».

Сейчас я работаю в диспансере, Прием большой, бывает и до 30 человек в день. Больных стало очень много. Стационара нет, все туберкулезные ходят по улице, распространяют инфекцию. Много хроников, много с открытым процессом, много из тюрем выходят больных. У нас в лучшем случае первичных больных отправляют в областную больницу, а хроников класть некуда.

Беседа с Мариной Федоровной
Кудыной, 21.03.2002г.

Зашива М. Петровна

Архив Международного Мемориала
Фонд 2, опись 10, дело 62

*4 октября 2016 года Минюст РФ внес Международный Мемориал
в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию
иностранного агента». Мы обжалуем это решение в суде.*

Архив Международного Мемориала
Фонд 2, опись 10, дело 62